

Ярослав Катаев

Рассказы

Каблуки

Все совпадения вымышлены. Герои случайны.

Потом она сказала, и зачем ты взял Кортасара. У него всегда то смерть, то боль. В каждом рассказе, в каждом. Неужели нельзя по-другому, неужели обязательно нужно, чтобы боль? Я посмотрел на обложку и пожал плечами. Регистрация на самолет заканчивалась — и я взял с полки первую попавшуюся книгу.

Потом выяснилось, что рейс на Париж задержали, и теперь мы сидели в стеклянной кабинке и курили. Я летел в Париж, а она — не знаю куда. Она затыгивалась, делала глубокий вдох, на секунду задерживала дыхание и порывисто выдыхала. Нет, не выдыхала, она выплевывала. Да, она выплевывала этот дым. Дыма было так много, что я едва видел ее лицо. А почему ты опять стала курить? Я ведь помню, ты бросила. Она не ответила. Только глубоко затаилась, опять задержала дыхание и опять выплюнула. Нет, ну правда, неужели нельзя без боли? А почему ты летишь без мужа? Без мужа? Она опять затаилась, покрутила головой, выплюнула дым...

И неужели нельзя было сделать нормальные комнаты для курения? Это же не комнаты. Это какие-то... шкафы... гробы... как тут сидеть? Да, сказал я. Но раньше и таких не было. Раньше и таких не было, повторила она. И снова затаилась.

Потом мы сидели. Говорили. Она закурила вторую. Потом еще одну. Глаза уже начинали слезиться, и хотелось выйти из этой комнаты, и я ждал, когда, наконец, объявят посадку. Или когда сюда придут люди. Кабинка маленькая, и даже для четверых будет тесно. И мы уйдем. Но, как назло, никто не приходил. И мы сидели вдвоем. Я вслушивался в монотонный, в этот безразличный автоматический женский голос, объявлявший посадки. Но моего рейса все не было и не было.

И я сидел в этой кабине и уже давно не курил.

А она все говорила, говорила. Куда она летела? И почему одна? Она говорила про Кортасара, потом про роды. Да, почему-то про роды. Про детей, про мужей. Я перебирал страницы Кортасара, лежавшего у меня на коленях. И жалел, что вообще

Ярослав Катаев — сценарист. Родился в 1982 году в Санкт-Петербурге. Выпускник СПбГУ. Ныне — директор по стратегическим коммуникациям Креативного агентства ТомсОйер, консультант по продвижению брендов, основатель проекта «Философский сторителлинг» (совместно с А.К.Секацким). Живет в Санкт-Петербурге. Первая публикация автора.

купил его. В этой журнальной лавке книг было мало, и я взял первую попавшуюся. Я понятия не имел и не знал ничего про боль. А она все говорила и говорила.

Пассажирам, вылетающим в Париж, просьба пройти на посадку. Пассажирам, вылетающим в Париж, просьба пройти на посадку. Дым забирался в глаза, и я щурил веки.

Так почему ты летишь без мужа? Он ушел. Ушел? Ушел. Почему? Вы же столько лет вместе. Из-за поста. Из-за чего? Из-за поста. Какого поста? В фэйсбуке. Я написала пост в фэйсбуке. Как можно уйти из-за поста в фэйсбуке? Оказывается, можно. О чем был пост? О родах. О родах? Да, о родах. Муж ушел из-за того, что ты написала про роды? Да.

* * *

В Париже я поселился недалеко от Люксембургского сада. Днем гулял по набережной Сены. Останавливался у странных дорожных указателей, на молочном фоне которых было написано то «Сталинград», то «Аустерлиц». Вечером взял речную прогулку на теплоходе. Третий день подряд по городу метался ветер, вода поднялась и Сена разбухла, как вздувшаяся вена. Я сидел за столиком, столик качался, я пил белое вино и смотрел через чистое ясное стекло за борт. На острове молодого повесы, под Нотр-Дам, студенты сбились в кучку и грели руки над костром. А когда мы проплывали мимо, они выстроились в ряд, повернулись к нам спиной, стянули штаны и показали нам свои голые задницы. До этого я заприметил среди них одну красивую брюнетку в красной куртке-мотоциклетке и теперь искал среди голых задниц — ее. Наверное, левая молодежь так выражает протест против буржуа, прогуливающих на белых теплоходах.

Что бы сказала моя жена, увидев обнаженные задницы студентов? Наверное, она расхохоталась бы. Вот уж чем ее не удивишь, так это голыми женскими задницами. В ее мире fashion задница — что лицо. Модели то одеваются, то раздеваются, меняя ее наряды. А она стоит с ними в одной гримерке. Наверно, она уже давно перестала замечать наготу. Единственное, что для нее важно, это как сидят ее платья на этих телах, которые будут выводить платья на подиум. Да, она расхохоталась бы. А, если бы я стал ей возражать, она бы сказала: лицо, зад — какая разница? И там, и там — плоть, обтянутая кожей. Все остальное — миф. Что лицо, что жопа... Может, она права.

Пожилая немка за соседним столиком брезгливо отвернулась от окна. То же сделал ее муж и стал искать глазами официанта. А я смотрел на ту девушку в красной мотоциклетке. Студенты уже натянули штаны и теперь показывали нам средний палец. Она показывала мне средний палец и корчила рожицу, морща белый носик и высовывая язык.

В кармане лежал Кортасар. Я заказал еще вина и рассеянно листал страницы. Кортасар. Рассказы... рассказы, рассказы, рассказы... и вот, между страниц, какая-то вкладка. Белые листы бумаги, белые чистые листы, сложенные вчетверо. Я разворачиваю... а там, внутри, чернила, кляксы, черные буквы, что-то зачеркнуто, что-то перечеркнуто, что-то вырезано. Черно-белая рамка фэйсбука, и внутри рамки — текст. Много текста. С заголовком: «Родильное отделение». Это ее. Это и есть ее пост... она зачем-то распечатала его из фэйсбука и вложила мне в книгу... Зачем? когда успела? В тот момент, когда взяла «полистать» на минуту? Там, в курилке, в которой дым и ничего не видно?

Я предлагал ей поехать в Париж. Я знал, что меня ждет несколько дней одиночества. Жена будет готовиться к показу. Точнее, к *парижскому* показу. А я буду

бродить один по городу. И зачем я вообще ей там нужен? Но нет. Я должен приехать. Я должен приехать, и все тут, говорила она в трубку. Может, все-таки передумаешь, и — в Париж? Жена будет готовиться к показу, ей все равно не до меня. Будем гулять. А знаешь, как хорошо курится в Люксембургском саду или на острове молодого повесы? Будем гулять, курить, и ты мне все расскажешь. Хочешь? Еще не поздно поменять билет — перебил я ее. Поздно, конечно, поздно. Ты разве сам не понимаешь? Мы ведь уже на нейтральной полосе. Мы уже пересекли границу... Когда, наконец, объявили мой рейс, глаза щипало от въедавшегося дыма. И пока я шел на посадку, я без конца мигал. И мир то гас, то вспыхивал вновь.

Теперь я читал, а теплоход плыл. Я читал, а теплоход плыл. Я не заметил, как мы оказались у причала. Мальчик-юнга бросил веревку-косичку другому, стоявшему на берегу. Тоже темнокожему, в джинсах и шлепках, без майки. Тот обернул веревку вокруг черной железной катушки, юнга с нашего борта потянул веревку на себя, и мы прижались бортом к резиновым покрышкам, закрепленным на причальной стенке.

* * *

Ближе к полуночи я стоял где-то в центре красивой толпы. Подошел официант. Месье, сказал он, посмотрел на меня, потом на свой поднос. На подносе лежал хамон, свернутый трубочкой, проколотый зубочисткой с насаженной ягодой винограда. На другом краю подноса стояли бокалы с коньяком. Я потянулся, взял два и выпил. Они смотрели на меня, как на дикаря. Они все были в цветистых штанах, в пестрых пиджаках, в разноцветных очках... мужчины, женщины, молодые, немолодые... они были разноцветные, как набор акварелей, накидки плыли за телами, как павлиньи хвосты. В джинсах, белых кедах, я был словно личинка среди бабочек. Подошла жена. Я же тебя просила, оденься как следует... я же оставила тебе набор... неужели так сложно хотя бы один день, хоть на один день... нет же, у меня показ в Париже, Париже! А ты приходишь, как... как... Как кто? Ну скажи, скажи, как кто? Она помолчала секунду... Как эти... эти... Какие?... Которые на улице... сказала она, наконец, потом отвернулась и ушла куда-то за кулисы...

Я остался один, в центре этой разноцветной толпы... модели выходили на подиум, разворачивались, уходили обратно... не уходили... уплывали... как жар-птицы... расплывались, как узоры на голубиной шее, как пролитый в лужах бензин... я искал официанта... мне нужен был коньяк... любой коньяк... здесь не было любого коньяка... здесь был только один коньяк... контролируемый по происхождению. Из региона Коньяк... Я пил коньяк, единственный доступный коньяк... а жена шла по подиуму, вела за ладони двух жар-птиц. Она шла по подиуму в светлом разноцветном платье, в белых туфлях на высоком каблуке. Я знал, что ей больно ходить на каблуках, но как бы ни было больно, она надевала их. И все хлопали. Ладони бились друг о друга, как крылья бабочек. А потом жена потерялась в этом пестром ван-гоговском мире, где краски хлещут, как кровь из вскрытых вен...

И вообще, Кортасар — мужчина. Но что вы, мужчины, можете знать о боли? — спросила она, выплевывая дым. Я недавно проснулась. Ночь. Горит торшер. А он сидит на краю кровати, весь бледный, знаешь... как этот дым. Я спрашиваю, что с тобой? А он сидит, держится за живот, знаешь, в белой майке, руки на животе, вот так, скрестил, пальцы в пальцы, и раскачивается туда-сюда, туда-сюда. Живот болит, говорит. Я говорю, может, «скорую»?.. а он лицо так скривил, я посижу пока, просто

посажу... И такой бледный. Я ладонь ко лбу. Да нет. Температуры нет, ни холодный, ни горячий. Но бледный как мел. И только черные волоски, как какие-то паучьи лапки, выглядывают на груди из-под майки. Живот болит... Господи, я чуть не рассмеялась. Живот болит, а сидит так, будто умирает. Так и хотелось сказать ему: ты, главное, говори со мной, говори со мной, слышишь? Живот болит. Интересно, что бы он сказал, если бы у него, как у нас, живот болел каждые двадцать восемь дней? Что бы он сказал, если бы ему приходилось ходить на каблуках? Что бы он сказал, если бы рожать пришлось не мне, а ему? Но ему не рожать. Никому из вас не рожать. Господи, мужчины, что вы знаете о боли?.. Что Кортасар знает о боли? Посадка на рейс до Барселоны окончена.

* * *

Она написала пост в фейсбуке. А на следующий день он ушел. Напоследок снял с пальца кольцо и крутил его, стоя в дверях. Как будто раздумывая, бросить на пол или положить со стуком на трюмо. Бросить было бы слишком театрально, а с учетом двери, которой он собирался хорошенько хлопнуть, это было бы умножение театральности. В итоге он мягко, почти нежно положил кольцо на трюмо, ладонь — на дверную ручку, надавил, скрипнуло, полоса света, хлопнуло, он ушел. Она осталась стоять, прислонившись к стене напротив. Подняла голову, затылок по стенке, глаза в потолок, стараясь ровно дышать, перебирая пуговицы на утреннем махровом халате.

Нет, конечно, она пыталась его удержать. Не уходи, пожалуйста, не уходи... ну из-за чего ты уходишь? из-за поста? из-за какого-то поста в фейсбуке? ну как можно уходить из-за поста в фейсбуке? ну хочешь, я удалю его? Сегодня же удалю, и ты больше никогда его не увидишь...

Да, она пыталась его удержать, но он как будто и не слушал. Рывком стаскивал рубашки с вешалки и бросал в дорожную сумку, открытую настежь. Сумку, с которой они ездили в Японию. Бросал не глядя. Рубашки сбивались в кучу, с заломанными рукавами, цеплявшимися друг за друга, как тела в братской могиле. Она говорила, что удалит пост, закроет ото всех, спрячет под замок, никто не увидит, никто не узнает... он молчал, ухмылялся, отбрасывал ее руку, когда она пыталась к нему прикоснуться... Рубашки сбивались в ком, по ткани разбежались морщины. Рубашки, его рубашки, которые он выглаживал и отпаривал каждое воскресенье, чтобы ткань была гладкая, как свежий лед... теперь он бросал их в кучу, и все комкалось и мялось...

Все, я удалила... отовсюду удалила, говорила она, хочешь, проверь, сам проверь. Он молчал. И потом... Удалила? да ты же опубликовала его! его же все уже видели! ты же взяла и опубликовала, ты выставила напоказ всем свое... свое... Он запнулся... и так и не смог выговорить, произнести это простое и почти детское слово «говно». Он запнулся, посмотрел на нее со злостью. Будто этот взгляд и был заменителем слова... был самым этим словом. Как так можно?.. только и смог он добавить. Потом опять молчал и собирал сумку. Как ты могла... как можно быть такой... такой... бесстыжей...

Она стояла, смотрела в потолок. Снова и снова оказываясь там, в этой спальне, где он потрошил шкаф. Каких слов ей не хватило? Что она упустила? Что, в какой момент?.. А потом она пошла к холодильнику, открыла дверцу и запустила туда руки. Она искала мясо. Она руками искала мясо. А потом запихивала его себе в рот.

Опять подошел официант. Опять хапон, свернутый в трубочку. И коньяк. Бокал, нет, два, два коньяка. Дайте мне три коньяка...

Посреди ночи я проснулся. От громкого сердцебиения. Я открыл глаза. Меня тошнит. Меня тошнит и сейчас вырвет. Я побежал в ванную и, упав на колени, обхватил руками унитаз. Потом сидел, прижимаясь спиной к двери. Я звал жену. Но она не приходила. Ее попросту не было в номере. Она до сих пор не вернулась. Я сидел в темноте, и тело мое дрожало.

Она ела мясо. С детства. Они жили бедно. Маленький провинциальный город на окраине империи. Еды было мало, и если появлялось мясо, родители отдавали все ей. Маленькой худой девочке, обтянутой кожей. Родители отдавали ей мясо, подцепив вилками со своих тарелок... пузырился и лопался жир, жирные куски мяса на ее тарелке. Родители смотрели на мясо и сглатывали, потом переводили взгляд на нее и улыбались. Улыбка на их лицах. Кушай, доченька, кушай... и она кушала. Она всаживала нож в это сочащееся жиром мясо, кровоточащее, ошетилившееся мясо, отправляла в рот и, не прожевывая, глотала. Она ненавидела это мясо, она не переносила его вид, его запах. Эти морщинистые, скукоженные, изжаренные куски животных тел. Но родители так нежно смотрели на нее, так улыбались, когда она отправляла вилку за вилкой в рот, их глаза почти слезились радостью — они накормили свою девочку, маленькую худенькую девочку... — что она не могла отказаться. И отправляла кусок за куском в рот и глотала, глотала, глотала... чтобы родителям было радостно. А потом написала этот пост про роды...

Она написала пост про роды. Она лежала в больничной палате. Одна. Ничего не зная, что ей предстоит. Она ждала, что еще чуть-чуть и на свет появится ее ребенок. Начинались схватки. Внутри живота все сжималось и скручивалось до боли, будто деревенская баба брала крепкими руками ее матку и отжимала из нее воды, как мокрое белье после стирки. Она стонала, чтобы сдержать крик, выгибалась, цепляясь пятерней за простыни. А потом деревенская баба отпускала ее перекрученную матку, и она выдыхала. Это повторялось опять, и опять. Она лежала в палате одна. В темной, с перегоревшими лампами, с закрытыми шторами. Она хотела кричать. Но было стыдно, — вдруг кто услышит. Врачей нет, и только лохматая старушка-уборщица забежала один раз и спросила: «Дует?» Она посмотрела на ее руки. Жесткие, костистые, смуглые, державшие серую рваную тряпку. Это были те самые руки, которые скручивали ее матку. И она пришла сюда издеваться над ней. Дует? Да мне жарко! С меня пот течет. Я вся теку. Пот по лбу, по шее, по грудям... сорочка липнет, торчат и просвечивают соски. И дышать нечем, нечем дышать... И потом опять эти руки сжали в кулаки ее матку, и она опять изогнулась вся, закусив губу. А та подошла к кровати и положила ладонь на лоб, грязную грубую ладонь, в которой только что была половая тряпка, она положила ей на лоб, и после этого направилась к двери. Если будет дуть, — ты зови. Пот не струился, он выступал каплями, она вся была как губка, которую выжимали, и ее тело выдавливало пот из всех пор. И хотелось пить. Ей очень хотелось пить...

Хотелось пить. На четвереньках я дополз до холодильника. Там стояли в ряд маленькие бутылочки: коньяк, джин сапфир, вино, еще коньяк и коньяк. Они стояли, маленькие, стеклянные, разноцветные, в блестящих этикетках, будто елочные игрушки. Я сгреб все в кучу, прихватил ладонями и вывалил на ковер. В холодильнике стало свободнее, и тогда я нашел бутылку воды. И пил, и пил, и пил. Потом оделся, накинул плащ, спустился вниз и вышел на улицу. Мне нужен был воздух.

Я шел по набережной Сены. Была ночь. Но людей было много. Они обступили гранит набережной и стояли, прислонясь к камню, и у всех в руках телефоны, и они снимали что-то на камеру. Вдалеке — то ли фейерверк, то ли салют. Дул ветер. Я стал застегиваться, но молния не сходилась. Мешало с внутренней стороны. Я похлопал ладонью. Запустил руку внутрь. Кортасар. Во внутреннем кармане лежала книга Кортасара. Я и забыл. А люди стояли вдоль Сены, впереди за мостом что-то горело, будто закатное солнце, которое все никак не опустится за горизонт. What's hapenning, хотел я спросить. Но горло было забито и получился какой-то хрип. Я прокашлялся. What's hapenning? — спросил я наконец. Женщина в косынке оглянулась на меня и сказала Notre Dam is on fire... Я подошел вплотную к граниту, взгляд перестал упираться в спины, и только теперь я увидел, что горит Нотр-Дам. Оранжевое пекло посреди ночи охватило Собор Парижской Богоматери.

Дети рождаются оранжевыми. Иногда желтыми. Иногда синими. Иногда белыми, как мука. Желтые, синие, белые крохотные тела вымазаны, испачканы кровью. Слизкой, вязкой, перемешанной с плацентой кровью, которая налипает на кожу, как размазанные бордовые сопли. Он хотел перерезать пуповину. Но было тройное обвитие, и врач велел ждать в коридоре. Когда же его позвали, ребенок был уже на руках у медсестры. Маленький сморщенный лягушонок, он целиком уместился на двух ладонях. Ярко горели лампы, и он видел эти разводы крови на крохотном иссиня-желтом теле, потеки вязкой крови липли к этому телу, будто тина морская. И ему стало стыдно. За своего ребенка, что он такой лягушонок, что он такой поросенок, извалявшийся где-то в грязи. Медсестра подошла к раковине, над которой торчал кран, длинная металлическая трубка с загнутым носом. Кран продолжался струей, которая разбивалась о ржавую раковину. Он опять посмотрел на ребенка. Ребенок был ржавый, как эта раковина. Медсестра собиралась поднести ребенка под струю, но он не дал. Я сам, я сам, сказал он и протянул ладони. Медсестра посмотрела на него, хотела было покачать головой, но, увидев его взгляд, все поняла и протянула ребенка. Его ладони были шире, глубже, сильнее женских. Он приспособил его животом на одной ладони, подставил под кран и стал оттирать, смывать эту грязную липкую материнскую кровь, скорее, скорее очистить это тело от грязи. Пока никто не увидел, промыть, завернуть в чистые полотенца, пока никто не увидел, пока никто чужой не зашел в палату. Чистота. Самое важное — чистота. Жизнь должна начинаться и проходить в чистоте. Если вокруг грязь, то и внутри грязь. Если вокруг чистота, то и внутри чистота.

Кто бы мог подумать, что он уйдет от нее из-за поста. Из-за какого-то поста в фейсбуке. Он, такой заботливый, который сам менял постельное белье и продевал одеяло в пододеяльник, чтобы она не мучилась с этим. Кто бы мог подумать, что он бросит ее из-за каких-то слов, написанных в соцсетях. Ради чего? Ради чего? Ради чего она написала об этом? Ради славы? Зачем? Я просто... я просто написала... я ничего не хотела... пожалуйста, останься. Но он не остался... У нее нет стыда. У кого нет стыда, у того ничего не будет...

Я достал книгу из внутреннего кармана и посмотрел на обложку. Хулио Кортасар. Рассказы. В каждом рассказе то боль, то смерть, сказала она в курилке. А потом добавила: Что мужчины знают о боли? Что могут знать о боли существа, которые никогда не рожали?

По дороге неслись пожарные машины. С сиренами, с мигалками, с заготовленными шлангами, из которых вырвется напор воды, из многих шлангов, как огонь из дракона... Струи-ленты. Струи-щупальца. Пожарные машины выстроились вокруг Нотр-Дама. Они поливают собор из брандспойтов, струи впиваются в остов собора, будто щупальца осьминога. Но вода в утробе машин заканчивается, струя гаснет, напор ослабевает. И новые, и новые пожарные расчеты едут тушить Нотр-Дам. Они несутся по набережной, вращают мигалками, расточая и разбрызгивая красно-синий свет. Новенькие, свежепокрашенные пожарные машины везут в своих цистернах тонны воды. Шланги дрожат, вода стремится вырваться из труб, красные грузовики готовы опустошить цистерны, как роженица — отпустить околоплодные воды. Они несутся стремглав, почти наперегонки, тушить пожар в Нотр-Даме, Соборе Парижской Богоматери. Но поздно. Внутри собора, в его утробе, уже все охвачено огнем. Все пылает, горит и жжет. Пожарные машины мчатся по набережной. Но у моста — резко по тормозам. Водитель бьет по тормозам. Затор. На мосту затор. Пустые, с выпотрошенными брюхами, пожарные машины пытаются уехать. Новые машины движутся им навстречу по трем полосам, по встречке. Они упираются друг в друга лбами, машины с опустевшими баками, машины с полными баками, они не могут разехаться. В новых машинах так много воды. С пеной, несущей чистоту, с пеной, смывающей огонь, смывающей грязь. В их баках, в их трубах так много чистой пены, но они не могут доехать до Нотр-Дама, чтобы потушить, чтобы очистить собор от огня.

Я листаю страницы книги. Там ее пост. Между страниц. Но ночь, темно, и ничего не видно, слов не разобрать. Нотр-Дам. Там светло и много огня. От горящей Богоматери много света, там я смогу прочитать... я бегу по набережной мимо всех этих зевак с камерами, мимо машин, стоящих на аварийке, мимо указателей на Аустерлиц и Сталинград, мимо пожарных машин с включенными сиренами. Через мост, через мост. И, наконец, — собор. Свет. Огонь. Много огня. И можно читать.

Она лежит одна в темной палате. Мокрая, брошенная, испуганная, вся в поту... кто-то скручивает навыворот ее матку, скручивает, будто мокрое белье на пристани... капли стекают, вода льется. Она хочет кричать, но кричать нельзя, кричать стыдно, услышат. Там, за дверью палаты, — услышат... она стонет. Она хочет кричать, но кричать нельзя. Ей больно. Там, по тесным узким родовым каналам пробирается ее ребенок. Ползет, как пехотинец по тесному родовому тоннелю, будто по узкому окопу. Пробирается вперед, расчищая путь. Больно, будто по стволу пистолета проходит пушечное ядро. Ей хочется кричать, но кричать нельзя. Она течет, но течь нельзя. Вода выходит из нее и льется на сорочку. Струится на сорочку, впивается в хлопок, в белый хлопок сорочки... белоснежной сорочки, которую муж покупал ей, гладил, упаковывал в сумку для роддома, аккуратно складывая, чтобы не намять складок. И сейчас эта сорочка пропитается ее водами, пойдет пятнами, пятна останутся, и не выведешь... не отстираешь. Белая-белая сорочка пойдет пятнами... А ядро идет, и давит сильнее и сильнее, и никого рядом нет, и пот, пот течет по лицу и телу... и больно, и хочется кричать, но кричать нельзя... сигарету... пожалуйста, кто-нибудь, принесите сигарету, одну сигарету, прошу, одну... сигарету можно вставить в рот, можно вдохнуть, вместо крика — можно выдохнуть дым. Да, вместо крика можно выдохнуть дым, можно выплевывать дым... Курить. И она кричит: кури-и-и-и-ть! Принесите сигареты! курить! а ядро пробирается и рвет ее там, изнутри. И она вся в поту, то в жар, то в холод, только и кричит курить! курить! Курить — чтобы забить рот. Курить —

чтобы вместо мяса. Курить, чтобы не кричать. Курить — чтобы дым вместо крика. Забегает старуха-уборщица, руки-палки, руки-ветки. Дует, милая? Дует, хорошая? Курить! — кричит она, распластавшись на койке. Курить! — только и успевает сказать. И в этот момент ее матку опять скручивают, как белье на пристани, она прогибается вверх, потом отпускает, и ядро проходит по ее тонким каналам и падает на белую сорочку. Родила? Родила? — спрашивает она у старухи-уборщицы. И спазмы отпускают... и тугие руки разжимают матку. Родила? — спрашивает она опять у уборщицы. Та смотрит ей между ног.

Дует, милочка... дует так дует... говорит старуха и проводит ладонью по ее лбу, убирая прилипшие волосы с мокрой кожи... Скоро уж, скоро... Стой! стой! куда ты? Она зовет уходящую из палаты старуху... А курить? ты принесешь мне курить? Но старуха уходит, захлопнув дверь. И она остается одна. Одна в палате с перегоревшими лампами и узкой полоской света сквозь слегка разведенные шторы. Ей мокро, ей очень мокро между ног, и нет сигарет... Она опирается на локти, потом на ладони... она задирает сорочку и смотрит между расставленных ног. Там головка ребенка. Сейчас она посмотрит, и там будет головка ребенка. Еще чуть-чуть и она увидит своего ребеночка, своего сыночка... ребеночка, которого они так ждали... маленького, светлого, белоснежного... девять месяцев — и вот, наконец... три года — и вот, наконец... пять лет — и вот, наконец. И она опирается на локти, потом на ладони, она привстает на руках, складывается пополам и смотрит вниз, туда, где между ног, туда, где мокро, туда, откуда должен выйти ребенок... головка ребенка, глазки, щечки... и она смотрит вниз — а там не ребенок... там не сыночек. там не их мальчик. там — все загажено... шарики говна... как шарики фалафеля, теплого, вязкого, от которого струйками поднимается пар... сорочка загажена, все растекается по белоснежному хлопку. она падает на спину... и кричит, кричит, кричит... как новорожденный... кричит, как младенец. кричит, как никогда не кричала...

Почему он ушел от нее? Из-за поста. Из-за какого-то поста.

Он натирал новорожденному спину, его грудь, его маленькие ножки, он вымывал кровь из складок кожи. А складки были — там, выше коленок, кожа собиралась гармошкой. И он прочищал каждую складку, и все время так поворачивался спиной к медсестре, чтобы загородить ребенка от ее взглядов. Чтобы никто не видел его сына в этот момент нечистоты. И он натирал и натирал его тело старательно и до блеска. Как и потом, много лет спустя, уйдя от жены, в отеле, он стоял, склонившись над раковиной, и мыл руки. Тщательно. Палец за пальцем. Складка за складкой. Ладонь, тыльная сторона, ребро. Левая, правая, складки, складки. Тщательно, так тщательно, как давно уже не мыл. Она столько лет отучала его от этой привычки. Она никак не могла понять, откуда в нем эта тяга к чистоте, эта страсть к стерильности, — чтоб до блеска, до блеска. И она отучала его. И почти отучила. Но нет, нет, не отучила. И тер, и тер свои пальцы над раковиной в отеле, пытаясь отмыться. Он еще может отмыться. А она — нет. Она уже — нет. Она опубликовала этот пост: как лежала в родильной палате и из нее сочились фекалии. И теперь все будут знать и, глядя на нее, на них... на их сына, теперь все будут смотреть и видеть эту лужу говна на ее когда-то белой сорочке.

Руки давно были чистые, но он не отходил от раковины и продолжал, чтобы пена и пальцы в пальцы, и складки в складки, и натирал, натирал, как в тот день, когда ушел их отец. И он натирал тряпкой пол. А мать курила в окно и говорила: видишь, а я тебе

говорила, говорила, — говорила мать — она говорила, что говорила, что такой бардак терпеть нельзя. Такую грязь нельзя терпеть, я говорила тебе убирать за собой. А ты не слушал. Только грязь разводил в доме. И вот отец ушел. Ты доволен? А он ползал на корточках, сдерживал слезы, иногда всхлипывая, и натирал этот чертов пол... до блеска, чтобы было до блеска...

Воют сирены пожарных машин... Собор Парижской Богоматери горит.

Она кричит. Ее белоснежная сорочка — вся в пятнах, которых никогда не отмыть. Никогда не отстирать. В пятнах, которые никогда не забыть. Она лежит одна, в темной палате с потрескавшейся краской стен, с потрескавшейся кожей на животе, с разорванным чревом, с ядром, разрывающим ее. Вся в поту, волосы по подушке, пятерней в простыню.

Мне хочется подойти к ней, обнять, провести ладонью по лбу, смыть с нее пот, разрезать сорочку, освободить от этого белоснежного хлопка, от этой смирительной сорочки, скатать сорочку в котомку, в мешок, открыть окно настежь, чтобы был воздух, выбросить это все в окно, снять с нее это все... пусть кричит, пусть лежит голая, с раскинутыми ногами, с оголенным нутром, пусть исходит потом, пусть кричит во все горло, во всю ивановскую, пусть кричит, ревет, мечется, бьет меня по щекам, впивается в руки ниже локтей. Пусть мечется голая по койке и исходит шариками по простыне. Пусть делает что хочет, но не одна, не одна, не одна... Пусть даже меня увидит жена, там, в ее палате. Пусть увидит. Но что она поймет? Она же ничего не поймет. Она, рожавшая под анестезией в частной французской клинике с кондиционерами и под присмотром пяти врачей. Она, для которой самое важное — это ее наряды, ее подиумы... Что она поймет? Она ничего не поймет, увидев меня стоящим у койки этой кричащей голой женщины. Оставь нас, я хочу остаться с ней...

Воют сирены, и вода вырывается из труб, и парижский Собор Богоматери в огне. И у меня сжимается в животе, и потом в груди, и потом в горле... И ком катится к горлу... и я блюю... у меня нет пакета, приступ, еще приступ, и у меня нет пакета, только книга Кортасара. Я разворачиваю ее, кладу на землю и блюю на страницы... Но приступ, и еще, и еще... страниц не хватает, и меня рвет на брусчатку на площади перед собором. На этот вековой булыжник. Весь этот испанский хамон и французский коньяк превратились в жижу и растеклись по книге и вековому булыжнику перед собором. Я сидел на коленях, упирался ладонями в камни, и меня рвало посреди толпы...

* * *

Зачем она написала этот пост? Она написала этот пост для мужа. Потому что нельзя же так: жить под одной крышей и не знать друг друга. Что он о ней знал? Когда увидел ее тогда, в палате, — белье уже поменяли, из темного преддверия родильного отделения ее перевезли в наполненную светом палату, на нее надели новую голубую сорочку. Ей промокали лоб влажным полотенцем. И лицо казалось свежим. Что он знал о ней? Он знал ее своей светлой чистенькой девочкой. И он не видел всего этого пота и грязи, которые были в ней. А она хотела, чтобы он видел. Она хотела, чтобы он знал. Потому что иначе, иначе... он просто и не знал ее. Раскольников признался Соне, что он убийца. И она написала этот пост, чтобы признаться ему, что и она —

она тоже убийца... Матери рожают нас, маленьких, липких, окровавленных, мы пробираемся, ползем туда, туда, на свет, где воздух, воздух... И вместе с нами, с другой стороны маленькой перегородки, пробираются на свет комья фекалий... и маточные воды отходят, и каловые массы отходят, и женщины, наши матери, расхристанные на койках, бьются в поту, пока мы пробираемся к выходу, туда, где нас ждут отошедшие маточные воды и каловые жижи...

Я сижу на мосту, опираясь спиной о резную решетку. Согнув колени, обхватив их руками. Меня еще колотит после спазмов. Кругом стоят «скорые» и пожарные. Огонь утихает, его заливают пеной. Скоро потушат, пожарные и спасатели войдут внутрь. Потом приедут архитекторы, реставраторы, рабочие... они придут с приставными лестницами, с красками и кистями. Они все почистят, все отскоблят. Снимут копоть с потолков и стен. Покрасят все заново. Восстановят витражи и фрески. И все снова будет блестеть. Блестеть и сиять так, будто и не было этого пожара... Но изнанка стен навсегда будет помнить этот пожар.

Я смотрю назад. Бурлит река, и в свете луны и проблесковых маячков виднеется остров молодого повесы. Теперь там никого. Студенты ушли. И никто не показывает своих бледных оголенных задниц. Сена бежит, вода течет, огибает остров, и два потока снова соединяются в один. Река бежит, то разветвляясь, то соединяясь. Мы строим города на реках. Реки, как рассеченная плоть, берега, как разделенные края кожи... реки-трещины, реки-шрамы. Что Сена, что Нева. Живем на разных берегах, хоть кричи. Не докричишься...

Теперь она не кричит. Теперь она снова курит. Берет сигарету в рот, сидит в дымной кабинке аэропорта, ждет посадки неизвестно куда и курит, и курит, вдыхает и выплевывает дым...

Небо начинает светлеть и по мосту бежит девушка. Неуклюже, будто хромая, высокие каблукы врезаются в трещины мостовой. Но она бежит. В светлом платье в разноцветных красно-голубых пятнах. Будто проблесковые маячки пожарных машин разбрызгивают акварель, и та растекается по платью... Нашла, наконец-то нашла... Ну куда ты сбежал, я искала тебя, искала... а ты сидишь тут, непутевый. ну, что случилось? Я смотрю на нее... белое платье, черная тушь, она стоит надо мной, высокая, уверенная в себе, как статуя свободы... Как прошел твой показ? Спрашиваю... Да неважно, неважно, опять ты ушел. ушел. Да, меня вырвало. Я показал ей пятно в нескольких метрах от себя... Она посмотрела. А что там такое? Книга. Книга? тебя вырвало книгой? Нет. меня вырвало. на. книгу. ...ох непутевый... ну что ты у меня такой непутевый?.. Она согнулась, положила ладони на платье, подпернула подол и села рядом со мной на брусчатку. Мы сидели, опираясь спинами о перила моста, и под нами текла река. У тебя случайно нет закурить? Она покачала головой. Мы еще посидели. Бульжник к середине ночи холодный, и холод пробирался под одежду. Пойдем спать, сказала она. Пойдем. Мы встали. Я не помнил, с какой стороны пришел. Не знал, на какой нам берег идти, и осматривался по сторонам. Жена зачем-то пошла к тому месту, где высыхала моя рвота. Она нагнулась, подняла книгу, потрясла ей несколько раз, жижа стекала со страниц струйками. Жена вернулась ко мне. Пошли. Зачем ты подняла книгу? оставь... Как оставь? это же твоя книга... Мы спустились с моста, она вытерла ее о траву. Мы шли вдоль реки, дрожь постепенно уходила. Жена несла мою книгу.

Мальчики

По земле ползали муравьи.

Мальчики сидели на корточках и били муравьев прутьями.

— Дави их, дави! — приговаривал старший, в грязных кедах и в синих трико с дыркой на коленке. На вид ему было лет десять. Тонкие руки. Длинная шея.

Трое мальчиков азартно лупили муравьев. Четвертый, в зеленой футболке и со светлыми волосами, лет восьми, сидел с краю и тоже бил палкой. В такт с остальными мальчишками. По муравьям он не попадал, бил по пустой земле. Комары садились на мягкие загорелые детские шеи, набухали и багровели. Мальчики комаров не замечали, они были слишком увлечены.

— Мертвец, мертвец, я нашел мертвеца! — раздался крик. От оврага, мимо детской площадки, к ним бежал рыжий, в веснушках. Одна сандалия расстегнулась, и он бежал, шаркая правой ногой по гальке. — Там мертвец, мертвец.

Прутья зависли в воздухе и мальчики посмотрели на рыжего.

— Вон там, — сказал рыжий и показал рукой.

Ползали муравьи. Старший медленно поднялся.

— Пошли, — сказал он наконец.

Мальчики тоже встали, крепче сжали прутья и двинулись за старшим. Туда, где кончался двор, начиналась грунтовая дорога, а за ней — голубятня и заброшенная церковь у автовокзала.

Остановились у широкого оврага, заросшего травой. Сразу за оврагом стоял дом. Окна были открыты, колыхались занавески на кухне. Внизу, на самом дне, в мокрой траве лицом вниз лежало крупное тело мужчины. Синяя рубашка топорщилась на покато́й спине и вываливалась из джинсов. Ноги были перепутаны, ладонь прикрывала голову.

— Митя, что делать? — спросил чернявый, выглядывая из-за спины старшего.

— Тихо ты.

— Сам ты тихо, делать что?

— Шас...

Они постояли немного, выстроившись в ряд. Кроме рыжего, который остался у Мити за спиной.

— Тихо ты, — повторил Митя, хотя все молчали.

Мальчик со светлыми волосами смотрел вниз, на тело, и почти не мигал.

— Ну-ка, сходи-ка проверь, — сказал ему Митя.

Мальчик посмотрел на Митю и ответил шепотом:

— Зачем?

— Зачем, зачем... сходи и проверь, говорю.

— Зззачем?

— Зачем-зачем... заладил... Что с тебя взять. Хлюпик, ты и есть хлюпик, — и Митя посмотрел на чернявого. — Сходи тогда ты, видишь, хлюпик трусит.

— Может, позовем кого? — ответил чернявый.

— Кого позовем? — Митя обвел мальчиков взглядом. — Вы что, мертвецов боитесь? — мальчики молчали. — Ам! — неожиданно крикнул Митя и резко прыгнул в их сторону, раскрыв ладони и согнув пальцы, будто когти. — Ам! — повторил он, и мальчики шарахнулись от него. — Вы что, мертвецов не видели? Они же не кусаются.

Жужжали комары. Мальчики стояли на месте. И когда над мертвецом зашелестела трава, мальчики нечаянно сделали шаг назад.

— Дайте-ка мне вон ту, — сказал Митя и показал на отломанную ветку, длинную, как удочка.

Хлюпик отошел в сторону, взял ветку, вернулся и протянул ее Мите, шурясь от солнца.

— То-то же, хлюпик. Смотри и учись.

Митя пошел вниз, в овраг. Он ступал медленно, высоко поднимая ноги, трава сгибалась под резиновой подошвой грязных кедов. Жужжали комары, из травы выпрыгивали кузнечики. Митя остановился в трех шагах от мертвеца. Вывернутое колено, зеленое пятно, джинсы в складках.

Митя держал палку двумя руками, как штык. Он думал, в какое место ткнуть. В ногу или в бок? Или ближе к плечу? Решил посередине. Он почти не дышал, колотилось сердце. Он хотел уйти, но там, наверху, стояли мальчишки и пристально следили. Митя обернулся. Так и есть. Стоят в ряд и смотрят. Митя сделал еще полшага, полшага вперед, нагнулся, вытянул локоть, изловчился и ткнул мертвеца в мягкий бок.

Мертвец всхлипнул. Или буркнул. Или икнул. Тонкий резкий звук, Митя точно слышал. Мертвец издал звук и отмахнулся рукой.

От неожиданности и испуга Митя бросил палку и помчался наверх. Наверх, к своим. Он спотыкался, ноги путались, буксовали в скользкой траве. Взбираясь по склону, он несколько раз упал, упирался ладонями в землю, не успев встать, начинал сучить ногами, от этого они еще больше буксовали.

Он слышал крик мальчишек, там, наверху, они убегали все дальше. И скоро он останется в этом овраге один, один на один с мертвецом. И что будет — страшно подумать...

Когда он выбрался, мальчишки стояли вдалеке, за качелями. Не оборачиваясь, Митя побежал к ним.

Потом они долго молча стояли. Митя тяжело дышал. Хлюпик смотрел на него, одним глазом выглядывая из-за металлической стойки качелей.

Чуть поодаль ворковали голуби.

— У-у-у-у... м-м-м-м-м... — слышалось из оврага, — у-у-у-у... — Митя перестал дышать, прислушиваясь к звукам. Все мальчишки перестали дышать. Они смотрели в сторону оврага, вот-вот и мертвец выйдет оттуда.

Но оттуда никто не выходил.

— М-м-м-м-м... у-у-у-у... — повторял мертвец.

— Погоди-ка, погоди-ка, — сказал Митя, отдышавшись. — Погоди-ка, погоди-ка...

И он пошел обратно к краю оврага, ускоряя шаг.

— Я, кажется, понял... — прошептал Митя.

«Мертвец» лежал, дергался и что-то мычал. Рукав его рубашки натянулся, и серебристый браслет часов блестел на солнце.

— Да это же пьяный! Это же просто пьяный! — обрадовался Митя и стал смеяться. — Да он же просто водки напился! Слышишь ты, рыжий! Это пьяный!

Мальчики осторожно, недоверчиво шли от качелей к Мите. Вместе с ними шла серая дворняга, иногда приседала и лязгала зубами, выискивая блох.

— Посмотрите, — это просто пьяный. Забуддыга, — повторял Митя, когда остальные подошли к краю оврага.

Хлюпик посмотрел на блестящий браслет и почесал зачем-то плечо.

— Так... вот что... — сказал Митя и подбежал к песочнице. — Орудие к бою, — сказал он, слепил широкими ладонями песочный ком, быстрыми шагами вернулся к краю оврага, замахнулся: — Приготовься, пли! — и выстрелил песочным комом в пьяного забулдыгу. Ком полетел по прямой и разбился недалеко от мертвеца, оставив коричневый след на траве.

— Эй, не отставай, орудие к бою! — кричал Митя.

И все побежали к песочнице, лепили ладошками ком, подбегали к краю оврага и бросали в лежащего. Комья летели, разрывались рядом с телом, слева, справа от головы, разбивались о голову, о спину. Мальчики радовались и при каждом попадании ободрительно поглядывали друг на друга. Потом возвращались назад, пополняли арсенал и снова с разбегу проводили песочную бомбардировку. Хлюпик тоже бросал. Но с каждым разом все дольше потом стоял у оврага, смотрел, как медленно шевелился пьяный. Пьяный сворачивался калачиком, делал странные движения ладонью перед лицом, как будто пытался укрыться одеялом с головой, но одеяла не было. И особенно внимательно смотрел хлюпик на браслет часов.

— А ты чего встал, давай! — кричали ему мальчишки и бросали песчаные ядра.

Броски становились более точные, комья разбивались о голову, ударялись в уши, между лопатками... — Давай, давай эту пьянь! Замочим эту пьянь! Эй, ты куда, хлюпик?

Хлюпик шел вниз. Сначала медленно, пытаясь не споткнуться на спуске. Иногда останавливался. Смотрел. Потом опять шел. Опять останавливался, смотрел. Потом быстрее, быстрее... и наконец бегом. До самого пьяницы. Хлюпик подбежал к нему, сел на колени, опустился ниже, заглянул в лицо... Потом будто сказал что-то... потом положил обе ладони на спину пьяницы и стал раскачивать.

— У-у-у-у... у-у-у-у... — мычал в ответ пьяница.

— Ты чё, того? Ты чё делаешь? — кричал Митя.

— Ты чё? — кричали мальчишки.

— Не стреляйте, не стреляйте, — кричал в ответ хлюпик.

— Еще чего! Орудие к бою! — отвечал Митя.

Мальчики снова бежали к песочнице, набирали комьев и снова бросали их вниз. На подлёте песок разлетался, частицы попадали на губы хлюпика, ударялись о тело пьяницы. Хлопок, хлопок, хлопок.

— Стойте, стойте! — кричал хлюпик, карабкаясь по оврагу вверх, несколько раз нога соскальзывала, он падал, поднимался и опять бежал. — Стойте! — повторил он, поднявшись. — Не стреляйте.

— Это почему это?

Хлюпик опустил глаза.

— Не стреляйте.

— Это почему это?

— Это... потому... это мой папа... — тихо сказал хлюпик.

— Твой папа?

— Да.

— Ха-ха-ха, ха-ха-ха, — засмеялся Митя, от смеха сгибаясь и упираясь ладонями в колени. — Так этот забулдыга — твой папа? — повторил Митя и снова стал смеяться.

И все остальные стали смеяться.

— Он не забулдыга.

— А кто же он, посмотри, — алкаш.

Хлюпик с разбегу врзался в Митю. Оба упали. Потом Митя столкнул хлюпика с себя, вскочил и начал бить. Подошли другие. И тоже стали бить.

Когда они перестали, мальчик встал и, хромя, пошел вниз.

Он подошел к папе и лег ничком рядом, положив свою голову на шершавую щеку отца, закрывая его лицо своей спиной. В них летели комья песка, разбивались о головы, песок разлетался по волосам, застревал в ресницах, колот глаза. От ударов болело между лопаток. Мальчик часто мигал, дышал тяжело и сопел. Отец лежал под ним и тоже дышал горько-кислым дыханием. Сверху доносился смех Мити и голоса мальчишек. Песок попадал в глаза, мальчик часто-часто моргал, песчинки царапались под веками, все темнело, потом вспыхивало вновь, браслет блестел на солнце. Мальчик тер глаза.

— Спи, папа, спи, — говорил мальчик, укрывал его голову и гладил маленькой ладошкой широкую папину спину под грязной мятой рубашкой.

Табурет

Я не знаю, зачем дядя Миша рассказал мне об этом. Да я даже и не знаю, зачем поехал туда. Я ведь не видел его много лет. Помнить, конечно, помнил, отец все-таки, но с тех пор, как он ушел, я его почти и не видел. Я тогда был в деревне, а он бросил нас. Потом поначалу он часто звонил, а потом все реже и реже. И тут вот такое. Надо искать черный костюм, черный галстук. И откуда у дяди Миши мой телефон?

Когда сделали все, что надо было сделать, поехали к дяде Мише. Он сначала ничего, а потом сразу стакан. И залпом. И потом еще один. Как я понял, дружили они сильно. Я хотел уже уходить, но он сказал: Подожди вот, последнее тебе скажу, и пойдешь. Я присел. На плите стоял старый чайник, сейчас уже все электрические, а у него старый, чтобы на плите от огня. А часы висели прямо над окном. Солнце в окно светит, освечивает, в глазах бликует, и стрелок не видно. Я еще подумал, зачем часы сюда вешать, не видно же ничего.

Дядя Миша сказал: Понимаешь, ей надо было уйти в спальню. Единственное, что ей надо было сделать, это уйти в спальню. Ты был маленький, в деревне, он говорил с тобой по телефону, а ей надо было уйти в спальню, только и всего. Я не сразу понял, о ком он говорит. Он уже выпил стакан. И потом второй. Говорил отрывками. Останавливаясь, замолкая. Потом спешно, будто пытаясь нагнать. Я смотрел то на него, то на часы. Времени было не разглядеть, солнце по глазам. Так ярко. Я щурился. Иногда закрывал глаза, светлое пятно прыгало под веками. А он говорил, говорил. Я жмурился, но свет все равно бил, и это яркое солнечное пятно, даже там, в темноте.

Потом я только и смог, что спросить. Откуда вы знаете? Откуда вы все это так подробно знаете? Откуда? Все просто, мне ли не знать. Ведь он в ту ночь ко мне пришел. Весь в крови. Подрался с какой-то шпаной у сфинксов. Вот здесь вот сел, где ты сейчас сидишь, на этот же самый табурет. Да, табурет тот же самый. Вот так и сидел, как и ты. Как же ты на него похож. Одно лицо. Только не избитое. Он сидел и рассказывал, рассказывал как заведенный. Одно и то же. Одно и то же, понимаешь. Говорил, говорил. Я и не останавливал. Выговориться ему надо было, понимаешь. Я-то ж не знал тоже ничего. А когда выговорился. Потом несколько дней слова не проронил.

Когда дядя Миша закончил, я выставил вперед ладонь, закрыл солнце и увидел часы. Было поздно. Я вышел от дяди Миши. Напоследок он крикнул: Эй, табурет куда утащил? Но я уже спускался по лестнице. Ноги шли плохо. Я сел в углу на лестничной клетке и так и сидел на этом табурете. А потом встал на колени и лежал на нем. Уже стемнело, а встать я не мог. Так и сидел, и сидел. Потом только встал. Шел по дороге, луна уже вышла, я крепко держал табурет за ножку.

Ей надо было уйти в спальню, я же по-хорошему ее просил, понимаешь? Но она не уходила. Стояла, руки на груди крестом, и смотрела, как я пью. С улыбочкой своей. Ну и пусть смотрит. На столе лежала открытая книга и степлер, и нож. Балкон был открыт, и слышно, как с гулом проезжают машины, аккуратно по изгибу реки. Я хотел, чтобы она ушла. Не я это начал. Но она не уходила. Подкралась незаметно сзади, пока я разговаривал с сыном. И теперь еще не уходила. Я разговаривал с сыном.

— Послушай, сынок, — говорю. — Я тебе еще раз повторяю, по Пушкина ездить нельзя. Потому что. Молодец, что останавливаешься перед перекрестком, но ты не можешь отвечать за всех. Я все понимаю, но это деревня. Там полно пьяных за рулем, ты понимаешь? У Пети свои родители, и они пусть решают между собой. Но ты мой сын, и я говорю тебе: по Пушкина ездить нельзя. Это центральная улица. Пожалуйста, катайся на Новой, катайся на Волжской, но на Пушкина — нельзя. И бабушке я тоже скажу. А если нет, то приеду в деревню и заберу велосипед, вот и все.

Я думал, она уже спала, но она не спала. Вошла тихо, я не слышал. Умеет она подкрасться. Особенно когда я говорю с сыном.

— Что случилось? — спрашивает.

Я махнул ей рукой. Ничего, мол, иди.

— Что ты мне машешь? Почему кричишь? Ты на Митю кричишь?

Я закрыл трубку ладонью. Я не кричу, иди спать. Нет же, слышу, ты кричишь. Она подходит ко мне и тянется к трубке. Сыночек, папа кричит на тебя? Иди, говорю, спать. Сыночек! Я отхожу к окну, чтоб телефон подальше. А она за мной, не дает поговорить, понимаешь? Я выставляю руку вперед. Она натывается на мою ладонь и кричит в трубку: Сыночек, я сейчас позвоню тебе. Чертовы белые ночи. Вот ей не спится. Смотрю в окно. Ездят машины, одна за одной, одна за одной. Иду в спальню. Воркует. Лежит в постели калачиком, душно, она без майки, колени согнула и воркует. Все-таки позвонила сыну, за моей спиной. Слышу: Но вы же аккуратно, да? По краешку? И Петя с тобой? Не расстраивайся, сыночек, если аккуратно, то, конечно, можно.

В шкафчике на кухне стояла початая бутылка виски. Положи трубку. Я сказал, положи трубку. Она отмахнулась, не посмотрев на меня. Кондиционер гудел, не справляясь с жарой. Из него капало. Кап. Кап. Я подошел к ней. Ладони горячие. Положи трубку, говорю. Я с ним поговорил уже. Что ты поговорил? Он плачет! Поговорил он. Довел ребенка до слез. Не хотелось кричать. Я пошел на кухню. Открыл шкаф и налил виски. И ведь всегда так. Почему она все время вмешивается? Я разговариваю с сыном. Она врывается, и вмешивается, и говорит поперек. Я вышел на балкон. Фонари не горели, но было светло. Потом она опять незаметно подошла сзади.

— Что плохого в том, что ребенок покатается на велосипеде с друзьями?

Я чуть не вздрогнул. Повернулся. Стоит за плечом.

— Почему ты все время вмешиваешься в мои разговоры с сыном? — говорю.

— Что значит «вмешиваюсь»? Я уже почти спала и услышала, как ты кричишь, я испугалась, что что-то случилось.

— Я не кричал.

— Не кричал? Да я из спальни слышала, как ты кричал!

— Из спальни? Тебе бы в акустическую разведку, — говорю.

— В разведку? Ты свои армейские штучки отставь. Ребенка до слез довел, а теперь ёрничаешь. Тебе не стыдно?

Я тихонько отодвинул ее и вышел с балкона. Доставать виски при ней не хотелось, но слышать ее потрезвянке было невозможно. Я налил побольше.

— А, опять за стакан. Сына до слез довел, и за стакан?

— Слушай, ты, — я ударил стаканом об стол. — Моего ребенка от меня защищать не надо! Я отец. От врагов будешь ребенка защищать, ясно? А от меня не надо.

— А это уж я сама решу, от кого защищать, а от кого нет, мне приказы не нужны, не в армии.

На диване лежал красный скомканный плед. Она нагнулась за ним и накинула на плечи.

— Они там все катаются. Ты хочешь, чтобы наш один не катался? Чтоб наш ребенок стал изгоем?

— Изгоем? Я сказал ему, катайтесь на Новой, катайтесь на Волжской. Но не на Пушкина! Это главная дорога, она идет через весь поселок, и по ней все носят!

— Вот именно, это — главная дорога, поэтому их все будут пропускать, они же на главной! И потом, он сказал, что перед перекрестками они тормозят.

— Они тормозят! Они! Но они не одни на дороге, ты понимаешь это? Они тормозят, а те, кто несутся им поперек, — нет!

— У тебя паранойя. Нельзя так. Там стоят знаки, он умный мальчик. А ты орешь на него.

— Стоят знаки, ёпта! На Садовом тоже стоят знаки, и двойная сплошная тоже там! Только это как-то не уберегло того мужика! Знаки, говорит.

— Звонишь перед сном и, вместо того, чтобы читать ему, — орешь!

— О да, конечно! Папа плохой, орет. А мамочка хорошая, жалеет. Папа запрещает ездить на велосипеде, а мамочка тут же разрешает. Какая хорошая мамочка. Только знаешь, мне все равно. Ты можешь эту игру разыгрывать сколько хочешь, пусть ребенок злится на меня. Но только пусть будет в безопасности.

— В безопасности. Заладил. Придумал себе. Ему уже десять лет, между прочим, он уже вправе сам решать!

— «Десять лет!» Вот именно! И все десять лет ты встречаешь в мои разговоры с ним! Ты подрываешь авторитет отца!

— Авторитет отца? А ты считаешь, авторитет завоевывается криком?

Я ударил по столу стаканом. Она отступила.

— Слушай, — говорю, — я понимаю, что ты авторитет завоевываешь шепотом. И, наверно, так и вправду лучше получается. Но, знаешь что, все самые большие подлости — делаются шепотом. И Ева тоже Адаму не криком кричала, а шепотом нашептывала. Как и ты ребенку нашептываешь сейчас против меня. Только, знаешь, когда ему будет пятнадцать и его станут подначивать на наркотики, на мои слова ему будет плевать. Вот тогда... тогда. Пеняй на себя.

— Наркотики? Да я же говорю, у тебя паранойя. Наркотики уже надумал себе. Ребенок хочет покататься на велосипеде с друзьями, а ты про наркотики. Совсем уже крыша поехала.

Я взял бутылку, чтобы налить еще. Назло ей. Она думает, я буду начитаться по углам. Черта с два. Пусть видит. Я взял бутылку, но она оказалась пустая. Я подошел к холодильнику. Там должна была оставаться водка. На дверце висели магниты. Париж, Афины, Стокгольм, Барселона. Какая она была красивая тогда в Барселоне, знаешь! Вышла из душа, вся загорелая. А там, где купальник, кожа белая, как бумага. Да. Подошла ко мне, пахнет морем. Морем и солнцем. И вот тогда все и случилось. Если бы я знал. Если бы знал тогда. Таким, как она, надо на лбу писать: я рожу твоего ребенка и заберу у тебя. Огромными жирными красными буквами. Чтобы все видели. Я открыл холодильник. На дверце бутылки не было. Я посмотрел вглубь. Лежала там,

за коробкой яиц. Ясно, сныкала. Думала, не найду. А я найду. Шиш тебе. Я налил и выпил.

Ей надо было уйти в спальню, я же по-хорошему ей говорил. Но она не уходила. Стояла, руки на груди сложила и смотрела, как я пью. С улыбочкой своей. Ну и пусть смотрит. На столе лежала открытая книга, степлер и нож. Балкон был открыт и слышно, как с гулом проезжают машины аккуратно по изгибу реки. Я хотел, чтобы она ушла. Мы кричали громко, как те соседи, когда мы сюда заехали. Ребенок тогда только родился, а они так кричали друг на друга, стенки тонкие, так кричали, что сын просыпался. И я ходил с ним на руках из угла в угол, он засыпал, но только они начинали кричать, он опять просыпался и плакал. Я стучал шваброй по потолку, на какое-то время они замолкали, а потом кричали опять. Неужели и мы так когда-нибудь будем кричать друг на друга? Что ты, милая. Мы так никогда не будем. И она ложилась ко мне на плечо, и мы засыпали. Запищал холодильник.

— Ты не закрыл холодильник, — сказала она.

Я посмотрел. Незакрытая дверь холодильника. Ну и пусть пищит, думаю, знаешь.

— Я завтра позвоню ему и скажу, что по Пушкина ездить нельзя. И этот вопрос мы больше поднимать не будем, запомнила?

— Что значит «не будем»? Ты со своим домостроем знаешь что? Протрезвей сначала.

— А я тебе сказал, поднимать больше не будем, — я медленно повел ладонью по столу. На столе лежали книга, степлер и нож.

— Ты сначала холодильник закрывать научись, потом командовать будешь.

— Слышишь, что я говорю тебе! Это мой сын. Мой единственный сын. Пусть хоть все дети деревни по ней катаются, хоть всей Тверской, хоть всей России, а он кататься не будет! Не будет и все, ясно?!

— Ты посмотри на себя. Посмотри на свои глаза!

— Замолчи.

— Да ты посмотри на себя. Глаза краснющие, кровью налитые, ты посмотри на себя, в кого ты превращаешься

Черт. Она не замолчит. Похоже, она никогда не замолчит. Я проскользил ладонью чуть дальше по столу. Туда, где лежали книга и нож. Она стояла, кутаясь в красный плед. Такая жара, а она в плед. Как можно в такую жару и в плед? Я встал, протянул руку, сорвал с нее плед, сиськи вздрогнули. Я отвернулся, хлопнул дверью холодильника, магниты посыпались и раскололись о плитку. Я вышел в прихожую, надел кроссовки и ушел. Было светло и пахло сиренью. Я шел вдоль Невы, у сфинксов копошились люди. Надо будет придумать, где теперь жить. И утром позвонить сыну. А пока — к Мише, переждать ночь.

Айя-София

Такси, такси, такси, чемоданы на колесиках, красные и синие паспорта, фуражки, погоны, штампы. Такси, такси, такси, желтые, с черными полосками, такси слетаются к аэропорту, как колорадские жуки к цветку.

Он:

— Is this a bus to Istanbul City?

Она:

— Да, до самого старого города.

Он:

— А, так вы тоже из России?

Она:

— Нет, то есть да.

Он:

— Это как?

Она:

— В смысле, живу в Стамбуле.

— Давно?

— Десять лет.

— Скажите, в автобусе есть вай-фай?

— Нет.

— Жаль.

— Я могу раздать вай-фай, если вам срочно.

Остановка у терминала, шлагбаум поднимается, тронулись, сонные головы лбом к стеклу, можно убрать паспорт.

— Вот. «Айфон Динара», видите?

— Значит Вас зовут Динара?

— Вот пароль.

Реклама Turkish airways на высоте, качает на поворотах, мерцание огней, золотой рог застрял в мраморе моря.

— Так вы тут работаете?

— Работаю и учусь.

— На кого?

— Заканчиваю диссертацию.

— На какую тему?

— Ну, вам это вряд ли интересно.

— Интересно.

— Про Японию.

— Про Японию? Вы востоковед?

— Нет, просто люблю Японию.

— Из-за роботов?

— Из-за Басё.

Водитель выключил свет в салоне.

— Любите Турцию, любите Японию. А как называется диссертация?

Она посмотрела на меня.

— Так как?

— «Тема смерти в японской литературе».

— Смерти?

— Я же говорила, вам неинтересно.

Облака, луна, облака. Качает на поворотах, качает на прямой. Скоро мост через Босфор.

— Нет, вы неправильно поняли, мне нравится тема смерти, особенно в японской литературе.

— Шутите?

— И вовсе нет. Всегда хотел знать, чем харакири отличается от сипуку.

— Сэпuku. И зачем вам это знать?

— А вы знаете?

— Знаю.

— Расскажите?

Плачет ребенок, резко по тормозам на пешеходном, сумка падает с полки, вскакивает мужчина.

— У Мисимы в «Патриотизме» смерть разыгрывается как подвиг, у Мураками — как пантомима.

— Как пантомима? Это как?

— Да, как пантомима. Смотрели экранизацию, фильм «Пылающий»?

— Нет, не смотрел.

— В начале фильма они сидят в кафе, и она показывает ему пантомиму, будто очищает апельсин от кожуры. Вот так. Он удивляется, как у нее так ловко получается. А она говорит, ты не пытайся представить, что апельсин есть. Ты просто забудь, что его нет. А в конце — она сама превращается в пантомиму.

— Как можно превратиться в пантомиму? Я не понимаю.

— Она исчезает, как тот апельсин.

— А-а-а, вот как?

— Да. Но сначала исполняет танец. Танец голода. А он кричит на нее, ругает, что она разделась при всех до пояса. А она смеется и плачет в ответ. Они пили вино перед тем, и теперь она смеется и плачет.

Подъезжаем к Босфору, улицы уплотняются, машины сжимаются.

— Вы бы ругались, если бы ваша девушка разделась до пояса при других?

— Конечно, еще как.

— Вот и он. Потому что он так ничего и не понял. Вы все ничего не понимаете.

— Если кто-то чего-то не понимает, это ведь еще не значит, что он неправ.

— Вы думаете?

— А что было дальше?

— А потом она исчезает. Он ищет ее по всей Гинзе, по всему Токио, по всей Японии. Ее нет, но для него она есть.

— Как апельсин?

— Да.

— Мне кажется, это хороший фильм, хоть и странный.

— Это хороший фильм. Там надо смотреть на знаки. Пантомима — это ведь знак.

— Знак смерти?

— М-м-м-м. Скорее — знак отсутствия. Звонит телефон, но собеседник в трубке молчит. Он приходит кормить кота, но кота никогда не видно. Она просила приходиться к ней кормить кота, и он ходит к ней в квартиру оставлять корм для кота, но кот постоянно прячется, и неизвестно, есть ли он вообще или она его придумала; он ложится в ее постель и обнимает ее простыню, но самой ее нет. Знаки рассыпаны по всему фильму. Но люди так редко замечают знаки, а ведь самое главное зашифровано в них. Поэтому люди ничего и не понимают. Она превратилась в пантомиму, в знак отсутствия. Он не пытается представить, что она есть, он просто забыл, что ее нет.

— Отсутствие есть сконцентрированное присутствие...

— Как вы сказали?

— Это не я. Это строчки из Эмили Дикинсон. Вспомнились. Отсутствие — это сконцентрированное присутствие.

— Да, наверно. Это ведь о том, что иногда тот, кого нет, становится еще нужнее, чем если он есть?

— Это очень сложно понять, видимо, да. Но это может сказать только Эмили Дикинсон.

— Если это так, то фильм как раз об этом.

Проехали Босфор, теперь — на самом краю Европы, тележки с каштанами и жареной кукурузой, горы пахлавыв в витринах лавок, рекламные вывески с точками и черточками над буквами.

— Вот и приехали, Старый город.

— Спасибо за интернет.

— Да вы же так в него и не зашли.

— Да, но как честный человек я обязан угостить вас кофе.

— Нет-нет, я не пью кофе на ночь.

— А чай?

— И чай.

— Тогда, может, прогуляемся?

— А вы надолго в Стамбуле?

— На день.

Она посмотрела на меня.

— На день?

— Да, проездом, точнее, пролетом. Долгий стыковочный рейс. Завтра улечу.

— Как неудобно.

— Нет-нет, специально так взял, очень хотел увидеть Святую Софию.

— Ну, значит, увидите.

— Так что, прогуляемся?

— Уже поздно, а поздно — не лучшее время для прогулок в Стамбуле.

— Почему?

— Много сирийцев теперь на улице, а они такие шумные, не люблю шум.

— Тогда я провожу вас, где вы живете?

— Да нет, я на автобусе, мне еще через мост, на ту сторону.

— Где вы живете?

— У площади Таксим, на той стороне, так что вам совсем не по пути, ведь Айя-София — на этой.

Сонные с утра рыбаки занимают места на Галатском мосту, разматывают удочки, бросают вниз пустые ведра и тянут вверх, зачерпывая воду из Босфора, как из колодца. Облака набросаны на небо, будто краска небрежной кистью — на холст. Усатые люди приплывают с азиатской стороны и с парома бегут в гору, в сторону Галатской башни. На улицах толкучка. Машины гудят, пешеходы не оглядываются на светофоры, водители не оглядываются на пешеходов. Гудки автомобилей, громкие окрики, густой кофе, турка на углях. Люди бегут в столовые. В чистых кафе полупусто, а в столовых очереди усатых людей с подносами ждут своей еды на завтрак.

— А что с Мисимой?

— Что?

— Вы говорили, что у Мураками смерть предстает как пантомима, а у Мисимы — как подвиг.

— Да, я имела в виду повесть «Патриотизм».

— Я «Патриотизм» не читал. Про что там?

— Про хакири.

— Про самоубийство, значит?

— В Японии вообще всё или про смерть, или про самоубийство. Сначала я хотела писать диссертацию по самоубийству.

Я посмотрел на нее. Мы помолчали.

— У Мисимы я читал «Смерть в середине лета». Читали? Там тоже очень хорошо про смерть.

Перешел мост. Километр-два от пристани, вверх на холм, и вот она — Площадь Таксим.

— Вообще-то, по правилам, женщина первой делает себе харакири. Если что, самурай ей поможет довести клинок до конца. А уж потом делает себе. Но в «Патриотизме» он разрешил ей умереть второй, после себя. Это знак особого доверия. Ведь женщина может испугаться, понимаете, ее рука может дрогнуть, когда клинок прикоснется к животу. И тогда она останется в живых. Клинок, знаете, он такой холодный сначала.

— Откуда вы знаете?

— Что?

— Что клинок холодный.

— Да я не знаю, с чего вы решили. Совсем я этого не знаю.

— Вы только что сказали, что холодный.

— Говорю же. Не знаю.

Молчание.

— И что, она испугалась?

— Она вставила в себя клинок.

К Таксим ведут десять улиц. На углу Истиклаль и какого-то переулка ремонтируют фасад, и фасад заставлен лесами. Леса голые, без привычной зеленой сетки. И рабочий, сидя на досках на втором этаже, занимается сваркой. Огненная стружка разлетается во все стороны и падает на волосы прохожих.

«Айя-София, Айя-София?» — спрашивают туристы, плутая. «Гоу даун, гоу даун», — показывают им. Они стекают мне навстречу. Я смотрю на их лица, потом на спины, еще на спины, и поднимаюсь вверх. Вверх, к башне, мимо седого бездомного старика. Старик сидит на ступенях, прислонившись спиной к стене, поджав колени и положив перед собой перевернутую феску, в которую летят монеты. Хватит на лепешку. Опять оглядываюсь на спины и снова иду вверх.

— А вы бы стали танцевать без майки у всех на виду?

Она отвернулась и посмотрела в окно. Автобус качался. Она отражалась в окне, и в стеклах ее очков блестела подсветка Айи-Софии.

Скоро Таксим. Перехожу улицу, на середине дороги ускоряясь до бега, чтобы улизнуть от капота синей машины. Дальше вверх. Запах гари. Еще пять шагов, и в полуподвальной кухне усатый человек в белом халате жарит мясо, дым поднимается через решетку окон и расползается по улице.

Ты сидишь в уличном кафе, ловишь вай-фай, ешь макрель, выловленную с утра в Босфоре, и тут же тебя обступают кошки: белые, серые, рыжие, усатые, — они трутся у твоих ног, они смотрят на тебя мокрыми глазами и гортанно мячуют то рефреном, то хором. Голодные. Отдаешь им рыбу.

- Можно ваш телефон?
- Зачем?
- Ну, хотя бы фэйсбук.
- Зачем?
- Ну, хотя бы... где вы живете?
- У площади Таксим.
- Я найду тебя.

Она исчезает. Он вспоминает ее последний танец. Перед самым их знакомством она вернулась из Африки и рассказывала про танцы местных племен. Люди местных племен танцуют, когда наступает голод. Есть два вида голода — физический и духовный. Когда голод физический, они танцуют вокруг костра и тянут ладони к огню. Но если голод духовный, то руки не к огню, а к небу, вверх, над головой, вверх, как можно выше, выше. Ее нет, но он помнит ее последний танец. Они уехали тогда в деревню и пили вино, и курили, и на закате она стала танцевать. И звала его танцевать с собой. А он не пошел, и она танцевала одна. И руки все выше и выше, над головой, к небу, к небу, и она снимает рубашку, и потом майку, и голая грудь, и этот бесстыжий рядом смотрит на нее, а ее руки — как силуэты птиц на фоне заката. И теперь ее нет, но для него она есть. На самом деле ее нет, но для него есть. И он ищет ее по всему Токио, по всей Японии.

К Таксим ведут десять улиц, сто переулков, тыща домов. Дома ар-нуво, турецкий ампир, османский стиль, коробочные новоделы восьмидесятых. Дороги в гору, дороги с горы, спуски, подъемы, обрывы, пригорки, камень, булыжник, асфальт, песок. Зачем строить столько дорог, Динара?

Если вбить в фэйсбуке «Динара», — появится сто восемнадцать тысяч триста пятьдесят три Динары. Зачем столько Динар, Динара? На экран падают и разбиваются капли, расплзаясь на пиксели. Голову вверх, — нет, не дождь, кондиционер, как сито. Мягкие облака плывут по небу, словно сброшенные, скомканные и ненужные платья невесты.

Дома-шкатулки, дома-животы, из подъезда, как из утробы, вылезают люди, миллион людей вылезает на площадь Таксим.

На площади Таксим есть памятник Ататюрку, есть тележки с каштанами и тележки с пахлавой, есть фонтан и новая плитка, есть полицейский БТР и военные с автоматами. На площади Таксим есть ярмарка, и вечером ставят сцену, поют и жарят мясо и заворачивают в лепешку. На площади Таксим строят новую мечеть, и ее скелет проглядывает в темноте, как обглоданная Айя-София. На площади Таксим есть все, кроме тебя. А ты так и не сказала, как тебя зовут.

Два часа, три часа, семь часов. Дорога вниз, вниз, мимо Галатской башни, мимо сувенирных лавок, мимо жареной кукурузы, мимо седого старика и его монет в выцветшей феске. Как тебя зовут, Динара? Динара? Медина? Мона? Я пил свою водку, прикусывая ломтики лимона.

Рыба в Босфоре хватается блесну сырой губой, сотни рыб хватают блесну сырой губой, и лески рыбаков натягиваются, как струны, от края до края Галатского моста, от берега до берега Золотого рога, и сам Галатский мост — как гигантская арфа, и ветер перебирает струны, и струны дрожат, как звуки прощальной мелодии. И я дрожу.

Опять чемодан, такси, паспорта. Ремни снять, ремни надеть. Погоны, печати, штампы, погоны, печати, штампы. Дьюти фри.

- Два виски.
- Ок, мистер. Как вам Стамбул?
- Три виски.
- Как вам Айя-София, мистер?
- Нет, лучше раки.
- Раки?
- С собой.
- Домой, мистер?
- Сколько?
- Сто лир.
- Сто лир.

Туалет, защелка, лампочка над унитазом, глоток, глоток, глоток, и можно танцевать. Закрывать глаза, никто не увидит. Закрывать глаза, никто не увидит. Знаешь, Динара, если бы ты танцевала и сняла при всех майку, и все бы видели твою грудь, — я бы не стал на тебя сердиться. Видишь, я и сам снимаю майку. Вверх, вверх, руки вверх, до самого потолка.

Журавли

В субботу поехали к истоку Волги. После Осташкова дорога стала ровнее. А проехав Новые Ельцы, мы увидели журавлей.

- Дети, смотрите, журавли!

Дети оторвались от своих телефонов и посмотрели в окно.

- Журавли?
- Да.

— А почему они так медленно летят, папа? — спрашивает младший.

- Медленно?

Я посмотрел в небо. Над полями, над лесами белые птицы летели медленно, будто устало, отставая от облаков.

— Наверно, устали, — говорю. — Может, возвращаются с юга. И после длинного перелета сильно устали.

- С юга? Какого юга? — опять младший.

— Что значит «с какого юга»? С того самого, куда они улетают зимовать, — вечно у младшего найдутся вопросы к мирозданию.

— Ну, пап, что это за юг? Тайланд? Или Греция? Или Африка? Можно конкретней? — это уже старший. Ему нужна точность.

Ну откуда я могу знать? До Тайланда им, наверно, не долететь. До Африки тоже. И действительно, с какого юга они возвращаются? С какого-то юга. С условного юга, где хорошо и тепло, где есть море. Где нет метелей, заносов, нашей вечной питерской слякоти и хмари. Где нет дождей и осенней депрессии. И много солнца, даже зимой.

- С юга — значит, с юга, — отвечаю. — Оттуда, где им хорошо и тепло.
- Но откуда именно с юга, папа?
- Из Греции.
- Из Греции?

— Да, — отвечаю, чтобы отвязаться.

— Из Трои? — уточняет старший с каким-то радостным энтузиазмом. Мы еще не дочитали Илиаду до конца, и они не знают, что Троя разрушена.

— Например, из Трои, — говорю.

— А зачем тогда они прилетают к нам? — опять младший.

— Что значит «зачем они прилетают к нам»? — Поворачиваюсь назад и строго смотрю на младшего.

— Ну, если им в Трое тепло и хорошо, зачем они улетают оттуда?

Господи, и зачем я показал им этих журавлей. Играли бы в свой майнкрафт. Опять на дороге ямка, не успеваю объехать и ударяюсь правым колесом. Надеюсь, не пробил. Что за глупые вопросы? «Зачем они улетают». Откуда я знаю? У них здесь дом. Да и вообще. Все куда-то улетают. Памела улетела от Луи. Такеши улетел из Японии. Зачем? Будто они сами знают. Наверное, думают, что там будет лучше.

Памела улетает во Францию.

Луи провожает ее в аэропорт. Когда ты вернешься? Но она не отвечает. Надо искать стойку регистрации, всматриваться в табло, смотреть на часы. Он плетется за ней с ее чемоданами. Его голова над ее головой. Когда ты вернешься? Но вот уже очередь на регистрацию, надо доставать паспорт, надо найти билеты. Так когда ты вернешься? Но разве в этой сумочке можно что-то найти? Но найти надо, надо предъявить паспорт, взвалить чемоданы на ленту, выбрать место у окошка (перелет долгий). «Так когда ты вернешься?» И только теперь, дойдя до последней черты перед расставанием, она наконец отвечает: «Послушай, Луи, я не вернусь. I won't be back. Ты пойми, там мой сын. Я хочу наладить с его отцом. Они подружились. Сын не хочет от него уезжать. You understand? Я возвращаюсь в семью. И я не вернусь».

Не вернешься? Но как? Он же не любит тебя. Ты же не любишь его. Как ты можешь уехать? Я буду ждать тебя. I will wait for you. Нет, не жди. Не надо меня ждать. Я буду ждать. Пожалуйста, разреши мне ждать тебя. Let me wait for you. Нет, говорю тебе, я не вернусь. Не жди меня. Don't wait for me. А потом красные ленты, рамки металлоискателей, белые перчатки, офицеры в фуражках, штампы в паспорт, объявления о посадках, турникеты, эскалаторы. Она поднимается по эскалатору, он смотрит на нее снизу, стоя у красной черты. Она поднимается по эскалатору, останавливается. Оборачивается. Смотрит на него напоследок. Машет рукой. Он — растерянный, согнутый, руки в карманах. Она машет ему рукой.

— Wave to me! Помаши мне! — говорит ему губами.

Но объявляют посадку, и шум чемоданных колес, и гомон детей, и она улетает. И ничего не слышно.

— Wave to me! Вэйв ту ми! Помаши мне! — кричит она.

Но опять этот женский голос диктора из колонок и плач младенцев, и постукивание каблучков. И он не слышит.

— Wave to me! Вэйв ту ми! Помаши мне! — не сдается она и кричит. И он наконец что-то услышал.

— Wait for you?? Ты сказала ждать тебя? Wait for you??

— Нет! Wave to me! Помаши мне!

— Wait for you? Ждать тебя?

— Да нет же, глупышка, не вэйт, а вэйв!

Но в этом шуме он ничего не слышит, он читает по губам и кричит ей:

— I will! I will! Я буду! Буду! I will wait for you! Я буду ждать тебя! — кричит он и выпрямляется.

Опять объявляют посадку, скоро самолет, и надо идти. До него не докричаться. Все бесполезно. Она махнула рукой, вздохнула, развернулась и потерялась в толпе. Он, счастливый, с улыбкой во все лицо, шагает по аэропорту весело, почти подпрыгивая. Она сказала ждать ее. Ну разве это не счастье? Она сказала — ждать.

Асфальт сменился грунтовкой. Сосновый бор справа. Сосновый бор слева. Потом какие-то избушки. Колокольня на пригорке. Парковка на вершине склона. Выходим из машины. Внизу — исток Волги. Спускаемся по траве вниз.

— Папа, ну если не знаешь, где юг, то так и скажи. Не знаешь и не знаешь.

— Я-то не знаю, я?? Это я не знаю?!

Но они уже не слушают. Бегут вниз, к истоку. Siri, куда улетают журавли? «Мне не удалось найти никаких мест». Siri, куда улетают журавли на зимовку, повторяю. Но опять бесполезно. В таком случае, Siri, чем ты лучше меня? Вбиваю вручную. Куда улетают журавли?

Вчера перед сном я смотрел сериал «Луи». Памела улетала в Париж, а я сидел на крыльце и смотрел в ноутбук. А потом закрыл его. Кругом темно хоть глаз коли, не считая пары звезд, которые иногда мелькают из-за облаков. Сажу на крыльце. Смотрю в темноту. Как же здорово все это придумал Луи Си Кей. Какой прекрасный сериал «Луи». И почему я о нем никогда не рассказываю? Каждый раз после лекции меня спрашивают про любимые сериалы, а я не рассказываю. Она кричит ему «wave to me». А ему кажется «wait for me». Мы видим сцену прощания, момент конца, а ему кажется, что это сцена надежды и момент обещания. Она говорит ему: все прошло, ничего не будет. А ему кажется, что все впереди и надо только немного подождать. Все наши разочарования оттого и происходят, что мы не так услышали, не так прочитали, не так поняли. Разве не о том же пишет и Филип Рот в «Возмущении»?

Поднимается ветер. Надеть капюшон. Нет, определенно эта сцена в аэропорту — это не сцена прощания между мужчиной и женщиной, эта сцена — метафора нашей жизни. Мы молодые, красивые, влюбленные, мы шагаем по аэропорту, весь мир открыт. Жизнь кричит нам что-то. Мы плохо разбираем слова, но нам кажется, она кричит нам «Жди меня, wait for me!» Все впереди, все сбудется, все придет. Надо только подождать. Жизнь кричит нам «жди меня», думаем мы, а на самом деле она машет нам на прощание.

Поднимается ветер. Руки убрать в карманы. Открывается дверь. Полоса света на крыльцо.

— Папа, так ты будешь нам читать «Илиаду»?

Смотрю на часы. Десять. Точно. Время идти читать «Илиаду».

— Сейчас, сынок. Две минуты, и я приду, подожди.

— Две минуты?

— Да.

— Хорошо. Жду две минуты.

Гектор прощается с Андромахой. У нее на руках их ребенок. Гектор тянет руки к младенцу, хочет взять к себе, приласкать. Но младенец испуган, конский волос на шлеме отца очень страшен. Гектор снимает шлем и к груди приближает младенца. Поцелуй на прощание сыну. Поцелуй на прощание жене. И уходит на битву предводитель

троянцев, божественный Гектор. Мы будем ждать тебя, we will wait for you, говорит Андромаха. Я вернусь, отвечает ей Гектор. Но где-то там, на Олимпе, на собрании богов, Зевс уже бросил жребий. И решена судьба Трои.

— Папа, так Гектор вернется?

«Русско-понтийский путь: журавли с севера и из центральных областей России летят широким фронтом в меридиональном направлении, после чего часть журавлей, перелетев напрямик Чёрное море, остается на зиму в Малой Азии, Сирии, Израиле, Ливане. А другая часть пересекает Средиземное море и достигает Африки». Надо же. Как далеко они улетают. До самой Африки.

Спускаюсь к Волге. Да это и не Волга вовсе. Так, маленький ручеек. Беседка какая-то. А на холме — церковь и купола. Захожу в беседку. В центре — родник. Вот он — исток Волги. Таблички. «Освящено Патриархом Алексием II». Рядом — «Освящено Патриархом Кириллом». А где дети? Выхожу из беседки. В Африку! В Африку они улетают! Смотрю, бегут вдаль. Вдоль реки. Одна нога на правом берегу. Другая — на левом. Не река еще — ручеек. А потом разливается. Становится огромной. И впадает в Каспийское море. Каспийское соединяется с Чёрным. Дальше — через Босфор — со Средиземным. И дальше — Африка. Так же и дети, маленькие пока, тоненькие. Бегут вдоль ручья. А потом вырастут, станут большие. И улетят куда-нибудь далеко, до самой Африки.

Летят журавли. Африканский мальчик смотрит в небо и грустно провожает птиц на север. На какой-то далекий север улетают его журавли. Он думает: в Испанию. Или во Францию. В Канны. Где показывают кино. И даже представить не может, что эти журавли улетают сюда, к нам, в ветреную Россию. Он думает — это его журавли. Его африканские журавли, почему-то улетающие на лето на север, о котором он и не слышал никогда, наверно. Стоит там у ручья, кругом пальмы, кругом антилопы. И в африканском небе летят журавли. Дети вырастают и улетают. А мы остаемся и только гадаем, где они, куда улетели.

Догоняю их у моста.

— А вы знаете, что был такой фильм, «Летят журавли»? И это единственный наш фильм, который получил пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля!

— И что?

— Как что? Значит, он победил! Единственный наш фильм за всю историю, который победил в Каннах!

— А почему тогда ему дали пальмовую ветвь? Разве за победу не дают лавровый венок? — опять младший. Что ты будешь с ним делать. Точно. Вырастет и улетит куда-нибудь в Африку, через все Средиземное море.

— Так и куда они все-таки улетают, ты обещал сказать, — говорит старший. — Да, куда?

Смотрю на них. Наконец остановились. Не бегут никуда. Смотрят на меня. Пока еще. И я говорю:

— В Сочи. Они улетают на зимовку в Сочи.

— В Сочи? Это разве юг?

— Ну конечно. Сочи на Чёрном море. Помните, там была зимняя Олимпиада. Они смеются. Что смешного?

— Папа, ты сам понял, что сказал? — и убегают.

И откуда они берут эти вопросы? Вечно ставят меня в тупик.

— Папа, так Гектор вернется?

Темно. Луна из-за туч, дым в дымоходе. Сын затаился и ждет, что ответчу. Андромаха машет рукой на прощание. Она будет ждать, но встречи новой не будет.

— Конечно, вернется, сынок. Он непременно вернется. Разве может не вернуться отец, если дома его ждет маленький сын? — говорю я. И зачем я говорю так? Ведь Гектор не вернется. Они будут ждать. А он не вернется. Он не вернется, и Троя будет разрушена. Зачем же я вру сыну? Зачем мы все время врем детям: что Гектор вернется, что Орфей выведет Эвридику, что добро всегда победит зло. Разве тем самым не становимся мы виноваты, что наши дети, наши повзрослевшие дети ждут от жизни чуда? Как ждал Луи улетевшую навсегда в Париж Памелу, как ждал Такеши зачисления на режиссерский курс, как Андромаха с сыном ждала Гектора? Мы, родители, разве не виноваты, что заставляем детей все время чего-то ждать? Ждать того, что не сбудется. И я говорю, послушай, сынок, я должен сказать тебе что-то. Гектор очень храбрый. И сильный. И он будет сражаться. Будет биться изо всех сил, до последней крови, до конца. Но знаешь что... он не вернется. Не потому, что он слаб. Или трус. Или плохой воин. Нет. Он сильный и смелый воин. Он лучше многих. Знаешь. Пожалуй, он лучше всех. Но он не вернется. Просто, знаешь... Так рассудили боги. Так выпал жребий. Такая досталась судьба. Понимаешь, сынок? Не все в нашей власти. Молчит. Понимаешь, сынок? Молчит. Наклоняюсь к его лицу. Сопит. Глаза закрыты. Спит. Уснул. Совсем стал лохматый за этот месяц. Все барбершопы на карантине. А что, ему идет быть лохматым. Как викинг. Как его любимый Тор из Марвелы.

Возвращаемся к машине наверх. На встречу нам спускается монах. Младший закричал:

— Смотрите, смотрите, журавли! Папа, опять они, те самые журавли! — я посмотрел вверх. Действительно, в небе под облаками летели те самые журавли.

— Это не журавли, мальчик, — сказал монах, поравнявшись с нами.

— Как не журавли? — спросили мы.

— Это не журавли. Это аисты.

— Аисты?

— Да. Аисты.

— Аисты? Вы уверены?

— А как же! Они живут здесь. Вон там ниже по реке — у них гнездовье. Уж сколько лет. Здесь их дом.

Монах пошел дальше к истоку. Я молчал. А дети громко смеялись, показывая на меня пальцем. А когда перестали, старший сказал, ты не расстраивайся, пап, ошибиться каждый может. И похлопал меня по спине.

* * *

На следующий день я бродил по деревенским улицам. Потом возвращался к машине. Машина стояла на самом берегу Волги. Берег крутой. Я уже сел в машину и собрался было уезжать, но увидел, как снизу поднимается дед с удочкой и велосипед перед собой катит. Поравнялся с машиной, остановился, говорит мне что-то. Не слышу. Открываю окно.

— Не клюет, — говорит. — Холодно сегодня, рыба к берегу не подходит. Из Ленинграда? — кивает в мою сторону.

— Да, — отвечаю.

— Я понял, — улыбается беззубой улыбкой. — По номерам понял. У меня ж родственники в Ленинграде. В Купчино живут.

— А мы на Васильевском.

— Как?

— На Васильевском.

— Ой, я плохо слышу, погоди.

Пытается развернуть велосипед и подойти поближе. С багажника падает зеленый резиновый сверток. Подходит.

— Мы на Васильевском, — повторяю.

— А-а-а-а, — услышал наконец. — А мои с Купчино. А, вообще, надо ехать на бейшлот.

— Куда?

— На бейшлот. Там плотина. Должно клевать. Сегодня, вишь, холодно, вода поднялась, не клюет. Вот такого малька поймал только. Но это что, так, курам отдать. А на бейшлоте должна.

— Поедем, значит, — говорю.

— А здесь где живете?

— В доме Полякова. Полякова знаете?

— Кого?

— Гену Полякова, — повторяю. — Жил здесь.

— Гену Полякова? Чего ж не знать. Вот кладбище. Налево он лежит, направо мой сын.

— Сын?

— Как?

— Вы сказали сын?

— Да. Вот здесь Геня лежит, а направо сын.

Помолчали. В велосипед руками вцепился. Крепко держит. А велосипед ржавый. Краска облупилась, и ржавчина. Крепкодержит и на воду смотрит, думаю, сломает сейчас.

— Значит, вы купили дом Гени Полякова?

— Не, Геня Поляков — дед моей жены, — говорю.

— Как? Твой дед?

— Нет, жены моей. Сегодня собираемся на кладбище как раз.

— Сегодня?

— Да.

— Ой, плохо.

— Почему?

— Сейчас там змей много. Сапоги берите.

— Хорошо.

— А если на рыбалку, то в Конаково, знаешь?

— Нет.

— Это как на Осташков ехать, Конаково в той стороне. Клевать хорошо должно.

Помолчали.

— А что с сыном случилось?

— С сыном? Э-э-э... Пить не пил, не. Курить курил, но пить не пил. Сел вот так поутру, и как сидел, так и завалился. Вот так.

Показывает.

— Сердце?

— Тюрьма. Десять лет в тюрьме — не шутка. Тюрьма играет. Сел вот так и завалился. А пить не пил, нет. Ветер, вишь, какой сегодня. И клёва нет. Ты в Конаково едь, я там десять вот таких лещей поймал. И сапоги обязательно бери, а то змеи. Я бы

сам поехал, да старость тоже играет. Ноги болят всё. Чуть вон поднялся, — всё. Семьдесят пять. А Ленинград знаю. По номерам понял. У меня там в Купчино родственники. Ну ладно, пойду я. А на рыбалку съезди.

— Хорошо, всего доброго! Съезжу, — говорю на прощание. Хотя прекрасно знаю, ни на какую рыбалку я не поеду. Некогда мне на рыбалку. Кризис. На следующей неделе сдавать платформу бренда и концепцию рекламной кампании. Не до рыбалки мне, из зоом не вырваться. А дед хороший, думаю. Беззубый и хороший. А сын умер.

И здесь, в деревне, я многих уже таких стариков видел, у кого сын умер. У Анны Палны, у которой мы яйца берем, внук умер. Угорел в бане. У Николаевны, у которой мы молоко берем, сын умер. Делали операцию в райцентре: то ли аппендицит, то ли язва. Вроде все хорошо прошло, но потом взял и умер, прямо в больнице. У соседки внук умер. Потом невестка. Остались они одни с сыном. Сын — сам уже дед — под семьдесят. Дождь идет, он в плащевке какой-то выцветшей, с мужиками столбы под новый забор вбивает. У него сын умер, а он столбы для забора вбивает. Я стою в сених, лестница заваливается вправо. Весь дом старый заваливается вправо. Анна Пална гнется к земле, накладывает яйца в корзину и тоже заваливается. Ты бы на Пасху приехал, таких яиц дала бы, внучок. Но бери хоть этих. Дает. А раньше я на рынок ездила продавать, но сейчас здоровья уж нет, столько кур не выдержу. Вот, что уж есть. Да нам и так хватит, спасибо. Знаешь, что скажу. Только ты никому. И шепотом потом. Ты вот думаешь, на рынке яйца домашние? А они не все домашние. Ты вроде парень хороший, так что знай. Некоторые в «Пятёрочке» покупают, к своим подкладывают и продают, будто домашние. А там домашних только половина. А половина из Пятёрочки. Я так никогда не делала. Это ж как так делать! У меня все домашнее, но здоровья уже нет столько кур держать. Поэтому на рынок нечего возить уж. А вот на Пасху зря не пришел, дала бы тебе яичек. Смертию смерть поправ. Столько яиц было, а угощать некого. В следующем году обязательно приезжай, поберегу. Спасибо.

Теперь вот ель. За ней Волга. Синие «Жигули» вдальке и два тихих рыбака на прошлогодней траве. И птицы над водой, не знаю названий. Такая деревня наша. Дети умирают, внуки умирают. Старики остаются. Дают яичек. Ставят забор. Рубят дрова. Доят последних оставшихся коров. Рыбу ловят. Рыбу...

Смотрю в окно. А сверток-то резиновый так и лежит. Забыл дед. Выхожу из машины. Беру сверток, бегу за ним по грунтовке, камни под ногами. Забыли! Вот, забыли! Оборачивается. А, плащ? Уронил, что ли? Да, у машины. А-а-а, говорю же, старость играет. Берет, складывает. Прощаемся, уходит. Руль вывернул. Велосипед хоть и ржавый, а едет ладно и не скрипит нигде.

— А еще дети-то есть? — спрашиваю тихо.

— Как?

— Дети еще есть? — почти кричу.

— Дети? Дети-то есть. А как же ж.

Он растопыривает ладонь, показывает мне пять пальцев.

— Пять.

— Пять?

— Пять! — говорит и улыбается через плечо. Улыбается широко-широко. Возвращаюсь к машине и не сажусь. Смотрю на воду. Река бежит. Отражения в воде. Птицы. Как их звать-то? Журавли? Аисты? Дед-то уж точно знает. Пять. Как он улыбнулся. Широко-широко. Так широко, что я вижу — он только спереди беззубый, а коренные-то все — на месте. Может, и правда, думаю, съездить все-таки на рыбалку? Взять детей — и на рыбалку.